

Известия. - 2000. - 20 марта. - с. 6.

Бубинька

Именины Евгения Баратынского отмечаются в двухсотый раз

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Литературные поколения входят в жизнь плотными рядами, великие писатели рождаются подряд, один за другим, а потом следует пауза — словно судьба сбивается со счета и в какой-то момент выясняет, что лимит гениальности уже выбран. В 1998-м, чуть ли не в самый день августовского кризиса, исполнилось 200 лет Дельвигу. В прошлом году мы с помпой отметили двухсотлетие Пушкина. Теперь начинается череда не менее славных, хотя и менее громких юбилеев его младших друзей: от Баратынского, который родился в 1800-м, до Языкова (1803) и Гоголя (1809). Другое дело, что мы задним числом навязываем любимым сочинителям свои правила игры: сами-то они праздновали не дни своего рождения, а именины. Баратынский, к примеру, отмечал их 7 марта (19-го по новому стилю); более того, сама мысль о возможности торжествовать день появления на этот свет могла бы показаться ему дикой.

Мы до сих пор испытываем иллюзию, будто «золотой век» русской словесности был эпохой сплошного торжества гармонии, счастья, упоения жизнью, когда правда утверждалась повсеместно, а в душах людей царил мир. Ничего подобного: в России, которую мы потеряли, внешних и внутренних проблем хватало (в противном случае мы бы ее и

не потеряли). Что же до переизбытка гармоничных гениев... даже если внимательно читать в «солнечного» Пушкина, то под покровом его поэзии шевелится трагический хаос. Что уж говорить о Дельвиге и Гоголе — не самые жизнерадостные были они люди, прямо скажем.

Баратынский в этом смысле исключения не составляет. Есть некая закономерность в том, что впервые по-настоящему сильное поэтическое чувство им овладело именно в Финляндии, куда в унтер-офицерском звании его перевели в 1820-м. (Как помнит каждый из школьного курса, «общество мстителей» столичного пажееского корпуса, в котором состоял юный Баратынский, украло табакерку и 500 рублей денег; чтобы вернуть утраченную дворянскую честь, пришлось вступить в армию рядовым.)

Изоляция и переживание одиночества обострили в нем поэтическое чувство: «В свои расселины вы приняли певца,/ Граниты финские, граниты вековые...» В Финляндии создана и самая известная поэма Баратынского «Эда» (1825). Вопреки Байрону и его достойному ученику Пушкину, Баратынский переносит действие своей стихотворной повести с Юга на Север. Южным порывам, буйству красок он противопоставляет ледяные тона северных пейзажей, теме романтической страсти — тему равнодушия, воца-

рившегося в современном мире и убившего, заморозившего все глубокие чувства.

Все — кроме ровного и безысходного страдания, которое испытывает поэт и которое все же лучше, чем сердечный холод. Лирический герой Баратынского — современный человек, скептически относящийся к жизни. Он не столько утонченно переживает свое разочарование, сколько мучительно — и подчас холодно — размышляет о жизни и страдании, которое она неизбежно несет человеку: «Дало две доли Провидение/ На выбор мудрости людской:/ Или надежду и волнение,/ Иль безнадежность и покой...» Избавить от холода жизни, от неизбывного страдания его не может ни вера (Баратынский постоянно и глубоко сомневается в божественном происхождении мира, почти не верит в загробную жизнь), ни любовь — «... Забудь бывалые мечты:/ В душе моей одно волненье./ А не любовь пробудитишь ты».

Единственное, что дает хоть какую-то надежду, — это исцеляющая сила самой поэзии. Чтобы поведать миру о всеобщей дисгармонии, поэт должен победить ее, преобразить в ясную гармонию стиха: «Болящий дух врачует песнопенье./ Гармонии таинственная власть/ Тяжелое искупит заблужденье./ И укротит бунтующую страсть./ Душа певца, согласна излитая./ Разрешена от всех своих скорбей;/ И чистоту поэзия святая./ И мир от-

даст причастнице своей».

В этих стихах 1834 года недаром используется не только общепозитическая, но и религиозная, церковная лексика. В первой же строке появляется слово «песнопенье», с его библейским ароматом. Власть гармонии названа «таинственной», она способна «искупить» заблуждение — а понятие «искупления» греха одно из ключевых церковных понятий. Душа певца «разрешена» от скорбей, как бывает очищена душа грешника, которому священник «прощает и разрешает» грехи на исповеди. И, наконец, «святая» поэзия отдает мир «своей причастнице» — душе читателя; как верующий «причастается» Богу, так читатель «причастается» гармонии, имеющей над ним таинственную власть.

Это не ликующая гармония торжества жизни над смертью; это тихая гармония примирения с миром. Недаром Баратынский-лирик называл свой собственный дар негромким и скорее соглашался признать его «убогим», нежели подражательным. Поэзия стала для него, как и для всех больших писателей его поколения, тем же, чем для верующего становится церковная служба. Именно поэтому он так болезненно, так религиозно строго размышляет о постепенном ослаблении поэтического начала, о победе «расчета» над «тайной», о торжестве корысти: «Исчезнули при свете просве-



щения/ Поэзии ребяческие сны,/ И не о ней хлопочут поколенья,/ Промышленным заботам преданы...»

Стихотворение «Последний поэт» открывало итоговую книгу «Сумерки». Вышла она в 1842 году, когда пушкинская и даже лермонтовская эпохи завершились и когда «негромкий голос» Баратынского окончательно перестал находить отклик у читателей. И автор «Последнего поэта» в 1843-м уезжает за границу, где весной 1844-го создает стихотворение «Пироскаф» (т.е. пароход), которое прозвучит неожиданно энергично, эмоционально, как будто у Баратынского открылось второе дыха-

ние и он по-иному взглянул на жизнь и на место человека в ней: «Дикою, грозною ласкою полны,/ Бьют в наш корабль средиземные волны./ Вот над кормою встал капитан./ Визгнул свисток его. Братствуя с паром,/ Ветру наш парус раздался недаром:/ Пенясь, глубоко вздохнул океан!»

Кажется, что все возможно, все впереди, все сулит радость, он вновь в родстве со всем миром, как было в детстве, когда матушка восхищенно называла его Бубинькой, Бубичкой, Бубушей.

...Очень скоро, в конце июня 1844-го, Баратынский внезапно скончается в Неаполе.